

А. Д., КАКИМ Я ЕГО ЗНАЛ

А.М.ВЕРШИК

То, что А. Д. Александров — человек выдающийся, нам стало ясно сразу. На нашем втором курсе ленинградского мат-меха он начал читать дифференциальную геометрию в 1952–1953 учебном году, потом, на третьем курсе он читал небольшой курс “Основания геометрии”, и позже, уже на пятом, — интересный и очень субъективный курс истории математики, который, насколько я помню, ни до, ни после этого он в нашем университете не читал. Вообще на факультете не было потока, которому бы А. Д. читал столько курсов. Это были первые годы его ректорства. Случалось ли, что какой-либо ректор университета читал столько обязательных курсов? А ведь еще есть и специальные курсы, семинары. Тогда ему было всего сорок лет и он был окружен, не просто уважением, но обожанием студентов. Необычностью и “необщностью взгляда” дышало каждое его появление перед студентами, отчего и возникало ожидание какого-то интеллектуального сюрприза, который будет вскоре преподнесен, или будет услышано что-то необычное, будоражащее мысль. Тогда, студентами, мы еще не могли вполне правильно оценить его математическую мощь, но охотно верили старшим, говорившим, что геометрия в Ленинграде — это Александров. Поэтому для нас тогда он был скорее профессором и блестящим лектором, чем математиком.

Я хочу написать о нем — человеке страстном и неординарном, ученом огромного масштаба — то, что я обдумывал много и долго, и сказать о нем то, что, мне кажется, мало, кто говорил. Я не знал его близко, но мне кажется, что я понимал (конечно, много позже) “феномен Александра” как редкое, но в то же время характерное явление противоречивой советской жизни. А. Д. — личность, о которой нельзя говорить легковерно, но его фигура требует от нас осмысления и, уверен, она еще будет предметом анализа историков в будущем, — как пример, — судьбы талантливого ученого и организатора в идеологизированном, тоталитарном государстве, которое прежде всего требовало от всех своих граждан полной лояльности и безусловного подчинения.

Студентами мы старались завязать с ним дискуссию, послушать легкую крамолу, которую он очень любил “выдавать”, поспорить и даже подерзнуть ему, что он воспринимал очень спокойно, даже с поощрением; чего в нем никогда не было — так это чванства важного человека; он был равнодушен (тогда) к внешним проявлениям уважения, как человек, прекрасно осознающий свою значимость и некоторое свое превосходство. Он, конечно, любил играть, и любил, когда эту игру умели оценить. Многочисленные легенды о нем, большая часть которых чистый вымысел, все-таки небеспочвенно создают представление о человеке, который любит разрушать своими эскападами имидж эдакого вечно озабоченного “серьезного” ученого. Правда, эта несерьезность иногда

приводила к конфликтам, урегулировать которые было в той жизни не так просто.

Летом 1954 года мы были в колхозе имени Тойво Антикайнена Приозерского района Ленинградской области, — это был один из многих подшефных колхозов университета, и хрущевский призыв городу укреплять деревню и сельское хозяйство был очередным лозунгом партии. До этого (т. е. до 1953 года) летние студенческие колхозные стройки были инициативой снизу (т. е. самих студентов) и не поддерживались ни университетом, ни партийным начальством и носили почти полулегальный характер. Характерное для сталинских времен подозрительное отношение к этой, как и к любой другой несанкционированной, даже, очевидно, полезной инициативе снизу, объяснялось якобы тем, что студенты должны учиться, а летом укреплять свое здоровье и не надрываться на физической работе, которую должны делать другие. В 1952 появился еще один редкий, но типичный для сталинских лет начальственный “довод”, может быть, и придуманный кем-то: якобы, в каком-то американском журнале появилась фотография конюшни, (в строительстве которой принимал участие и я), на фронте которой была выбита надпись “Построена студентами-историками в июле-августе 1951 года” (это правда), и будто бы в журнальной подписи под этой фотографией было что-то о принудительном труде советских студентов. Таких “строек”, конечно, допустить было нельзя. Парадоксально, что как раз в тех студенческих стройках не было ни малейшей обязательности и, тем более, принуждения, как позже. Но о главных принудительных советских стройках, на которые намекал американский журнал, мы узнали позже, и только потом поняли, почему такой намек болезненно воспринимается советской пропагандой. Впрочем, та надпись пережила несколько политических эпох.

Но времена менялись, стройки и сельхозработы студентов в деревне стали теперь неукоснительной заботой начальства, и вот к колхозному полю, где шел то ли сенокос, то ли прополка, подъехала черная “победа”, и из нее вышел в черном пиджаке, в белой рубашке (несмотря на страшную жару) ректор университета член-корреспондент АН СССР А. Д. Александров и пошел прямо по полю к студентам. Энтузиазм — сравним со встречами первых космонавтов в более поздние времена, мы бросились к нашему любимцу и, не стесняясь, схватили и начали качать его. Я помню, что он, спортивный и жилистый, сцепил руками несколько голов энтузиастов, по-видимому, желая проверить, сможем ли мы подбросить его или нет. Конечно, смогли. И не раз качали его потом на первомайских и других демонстрациях.

С ним приехал его тогдашний референт по ректорату бывший студент истфака Лева Пентюхов. Я немного знал его, потому что еще абитуриентом был на той самой стройке вместе с историками. Я подошел к нему и мы поговорили об А. Д. Лева, человек неторопливый и спокойный, был горд своим положением референта ректора и любил А. Д. Он сказал мне фразу, которую я запомнил. “Ты знаешь, он (А. Д.) как-то сказал мне: “Вершик — умный студент”, а он ведь редко кого хвалит”. Вспоминаю об этом не столько из хвастовства, сколько потому, что это дало мне уверенность, что я смогу когда-нибудь поближе познакомиться с А. Д.

Я был в то время (1954 год) уже не пламенный студент-комсомолец образца 50-го года, мне уже постепенно становились ясными колоссальные пропагандистские обманы, на которых базировалось наше воспитание и наше знание (а вернее, незнание) подлинной сути советской системы. Я инстинктивно чув-

ствовал, с кем из наших профессоров можно хоть как-то осторожно говорить об этих опасных вопросах. Один из них — мой первый научный руководитель Глеб Павлович Акилов. Очень скоро мне стало ясно, что он — бесстрашный и открытый человек, понявший все давно и окончательно. Я написал о нем в своих воспоминаниях в “Оптимизации” (1990). Он много и откровенно беседовал с нами, несколькими его учениками. Но в то время мне казалось, что разговор с А. Д. — умницей и смелым в любых своих суждениях — будет для меня более интересен: Г. П. Акилов “все понимал” и раньше, он никогда не был человеком “из власти” и никогда, и в сталинские годы, не выдавал себя за преданного советского человека и не был им, а А. Д., мне казалось, должен был пройти ту эволюцию, которую проходил тогда я и многие мои сверстники. Первую попытку завязать с ним разговор о политике и происходящих событиях я предпринял вскоре на демонстрации, кажется, осенью 1956 года. Он пришел на нее, как всегда взял с собой Дашу (дочку) и шел рядом с нами, студентами. Я стал его спрашивать о его отношении к докладу Хрущева и о других вещах, всколыхнувших тогда всю страну. Мы сравнительно долго говорили, я уже не помню деталей, но момент для разговора был не очень подходящий и он неожиданно сказал: “Позвоните мне и позовите к себе домой, и мы поговорим”. Я был горд и счастлив.

Эта встреча не состоялась. Несколько раз я тщательно внутренне готовился к ней, закупал коньяк и снедь, звонил ему. Но оказывалось, что он не может. Я тогда уже работал и жил с женой и маленьким сыном далеко от центра. На третий раз он сказал, что приедет. Но так и не приехал. Позже я его встретил, и он извинился и сказал, что не мог. Так оно, несомненно, и было. Мне казалось, что я упустил нечто важное, хотя и не по моей вине.

Тут нужно сказать, что среди моих старших друзей-гуманитариев, близких мне тогда по нашим общим оценкам событий, было несколько человек, которых А. Д. ценил, привечал в то время и довольно часто встречался с ними. Это известный философ и социолог Игорь Кон, ставший сейчас специалистом по сексологии, и, ныне покойный, Юра Асеев — философ и историк, очень активный и интересный человек. Игоря я знал еще школьником, он бывал у нас дома — слушал в пединституте лекции моей мамы, Е. Я. Люстерник, о новейшей истории Индии и интересовался Востоком. Кстати, Е. Я. не раз в университете общалась с А. Д. в основном в связи с Индией, куда А. Д. ездил в 50-х гг. С Юрой Асеевым я был вместе еще в “комсомольское” время в Большом комитете комсомола университета, секретарем которого был он. И он, и я одновременно прошли через эволюцию политических взглядов, типичную для интеллигентов тех лет. Его громкая и до конца не известная мне в деталях история во время его годичной поездки в Штаты, когда, согласно “Голосу Америки”, он сначала попросил политическое убежище, а потом отказался от этого, — не отпугнула ректора; А. Д. сохранял близкие отношения с Юрой и позже помог ему устроиться на работу.

Но я не оценил тогда влияния других событий того времени на возможность нашей встречи и продолжения дискуссий. А именно, обсуждения в университете книги Дудинцева “Не хлебом единым” со знаменитым выступлением ученика А. Д. и участника его семинара будущего сидельца и диссидента Р. И. Пименова и трагических венгерских событий. Немедленный поворот властей от относительного либерализма времен мартовского доклада Хрущева на XX съезде к усилению контроля над интеллигенцией, страх власти перед

стихийным продолжением десталинизации был очевиден, и любой руководитель, университета в особенности, был обязан “колебаться вместе с линией партии”. (Популярная тогда шутка о том, как надо отвечать на анкетный вопрос советских времен: “были ли колебания в проведении линии партии”).

Может, стоит в скобках сказать, что сразу после того, как нашему курсу прочитали секретный доклад Хрущева, я вместе с четырьмя своими однокурсниками пошел ночью к бирже (это около исторического факультета университета; место я выбрал заранее), чтобы сбить с двух фронтонов биржи мемориальные доски, посвященные каким-то выступлениям Сталина во время революции. Одну из двух досок мы успели сбить и убежали от начавшейся погони. Нас плохо искали, могли бы и найти, но, видимо, не было команды. Доложили ли об этом событии ректору А. Д. Александрову, вот что мне так и не удалось у него выяснить. У властей не должно было быть сомнений, что это дело рук студентов.

Я не стану описывать обсуждение книги Дудинцева осенью 56 года, я там не был и о последующей реакции А. Д., несомненно подогретой обкомом, знаю только в передаче. Р. И. Пименов — его ученик, человек очень сложной, я бы сказал головокружительной, биографии (от зека до ведущего депутата Верховного Совета РСФСР) — был главной фигурой этого обсуждения. Их сложные отношения с А. Д. — интересная отдельная тема и, я думаю, не случайно, что Пименов — скорее прирожденный политик, чем ученый, так он себя, в основном, и ощущал, — стал учеником именно А. Д. Но обсуждение этого совсем не входит в мои планы.

И тут есть повод начать разговор о том, что, как мне кажется, было главным конфликтом нематематической жизни А. Д. Я понимаю, что могу ошибаться и преувеличить одни и преуменьшить другие моменты.

Ректором он стал еще при Сталине. Это решение, бесспорно, принималось “на самом верху” и было абсолютно неординарным. Я помню митинг на Менделеевской линии по поводу смерти Сталина, А. Д. с траурной повязкой на рукаве пальто, его четкую, как обычно, речь. Симптоматично, но это был едва ли не первый многолюдный университетский митинг с новым ректором; начала обозначаться новая эпоха. До него один год ректором был московский механик Илюшин, который, как говорят, совсем не появлялся в Ленинграде и был откровенно временной фигурой — видимо, долго искали подходящую кандидатуру. А до Илюшина долгие годы ректором был А. А. Вознесенский, пользовавшийся большой популярностью среди студентов, руководитель скорее образца первых лет советской власти, чем бюрократ сталинских времен. Студенты называли его “папа”. Он погиб в костре “ленинградского дела”, да и был он братом “большого” Н. А. Вознесенского, члена политбюро, возможного наследника трона, расстрелянного тогда же.

И вдруг — А. Д. Александров. Невозможно представить себе кандидатуру более далекую от типичных унылых образцов номенклатуры тех лет. Но похожий эксперимент был и в Москве, когда вместо ставшего президентом АН СССР А. Несмеянова ректором МГУ стал И. Г. Петровский. Такое могло случиться только по приказу “самого”. Формально партийный (а И. Г. Петровский не был даже партийным ни в каком смысле), А. Д. не был примерным партийцем образца сталинских времен. Он мог сморозить, и делал это неоднократно, что-то очень сомнительное с точки зрения стандартных пропагандистских установок (впрочем, я не бывал никогда на партийных собраниях

вообще). Тому примером служили, например, его лекции по истории математики (дисциплине почти гуманитарной и, следовательно политической), к которым любой партийный цензор, если он их слушал, мог предъявить бездну идеологических претензий. Дворянское происхождение, которое А. Д. любил подчеркивать, тоже не было в чести у номенклатуры. Наоборот, происхождение должно быть пролетарским, крестьянским; интеллектуальный багаж полегче, речь попроще, и т. п. Разве что слава первоклассного математика, лауреата сталинской премии, но это — совсем не обязательно ни в советские, ни в позднейшие времена. Быть может, еще склонность к философии науки, объявляемой им марксистско-ленинской, что, пожалуй, для математика в глазах партийных идеологов выглядело лишь подозрительным. Но будет ли такой ректор послушным, будет ли он следовать указаниям партийных иерархов из обкома, ЦК? Трудно сказать что-либо о причинах такого выбора. Но, условно, выбор такого ректора можно считать достойным для любых времен.

Тем не менее, десятилетие 50-60-х годов (после смерти Сталина), особенно его начало — было полно надежд, страна начала выходить из оцепенения, открылась хотя бы часть страшной правды о прошлом, рухнули лживые авторитеты. По краткому выражению А.Н.Колмогорова, “появилась надежда...”. Это было время А. Д.! Он, как нам казалось, расцвел, его энергия стала как бы раскрепощенной, он стал свободней, уверенней. Первые зарубежные поездки на научные конгрессы и конференции, — он рассказывал нам о Канаде, Индии; новые инициативы, одна из них — организация вместе с В. И. Смирновым Ленинградского математического общества при ЛГУ; десятки других дел и, в том числе, проект строительства нового университета, о чем пойдет речь дальше. Было как-то приятно смотреть на него в эти годы — он как бы соединял наши (во всяком случае мои) надежды, что возможна советская власть с разумными, энергичными, талантливыми людьми, которые свободны от идеологических шор и предрассудков. В моей собственной политической эволюции такие фигуры, как А. Д. (их было совсем немного) несколько сдерживали постепенное понимание того, что никакая эволюция этой власти невозможна, — к такому выводу я окончательно пришел к концу того десятилетия. Но тогда почти поклонение А. Д. было всеобщим, могу судить об этом совсем не только по мат-меху. Е.Я. — профессор восточного факультета — неоднократно говорила мне о том, каким подлинным уважением и популярностью пользовался А. Д. среди гуманитариев.

Человек, согласившийся стать руководителем в советские времена (а может быть в любые, но в те, — уж точно), должен понимать, что, сделав он массу полезного, рано или поздно должен будет в чем-то уступать и следовать правилам игры, установленным советской системой, а главное и основное правило всегда состояло в том, что надо выполнять без всяких дискуссий и уклонений указания партии, т. е. требования цековских, обкомовских и прочих чиновников, интеллектуальному и человеческому уровню которых он, конечно, прекрасно знал цену. Знал ли А. Д. заранее, на что он шел? Ведь серость и бездарность не может спокойно соседствовать с талантом, и во власть в основном шли либо честные и наивные люди, либо те, кого не пугают унижительные и постоянные компромиссы между совестью и послушанием. А. Д. не похож ни на тех, ни на других. Конфликтов Александрова с обкомом и др. не могло не быть, и их конечная победа была predetermined. Но чтобы сохранить возможность что-то делать на таком посту — необходимо было идти на такие компромиссы,

стесняющие личность и, как я полагаю, приводящие к разладу с собой.

Однако в советское время быть руководителем такого масштаба и оставаться свободным от всего, что не касается прямых ректорских обязанностей, — т. е. от текущей политики, от секретных указаний партийного начальства (особенно в кадровой политике и приеме в университет) и, главное, от идеологии и много другого — невозможно. Но что можно? Можно сделать много полезного для науки и образования, для конкретных людей и даже в тех случаях, когда начальству это неприятно. И это А. Д. делал в больших количествах. Но за это, как ни удивительно для тех, кто далек от знания истинных пружин советской жизни, часто надо было платить: полезная созидательная деятельность в советские времена требовала участия и, часто и в приказном порядке, в сомнительных вещах. И особенно когда эта полезная деятельность имела направление если не противоположное, то перпендикулярное или не вполне совпадающее с установками партии и советской пропаганды.

А. Д. сумел защитить ленинградскую генетику, сохранив ее в ЛГУ. Это будут помнить все последующие поколения биологов, но, увы, физики будут помнить и помнят последовавшее вскоре после этого странное выступление в курчатовском институте, напряженно ожидавшем идеологической чистки и повторения “лысенковской” сессии 1948 года “по физике”. Об этом выступлении подробно написано в книге воспоминаний об академике Леонтовиче. Не зная А. Д., его выступление можно было понять (и так его многие и поняли) как анонс предстоящей идеологической проработки, хотя на самом деле А. Д., всегда имевший свои представления о философских проблемах физики и своих врагов из числа “вульгаризаторов” марксизма и потому имевший, что сказать физикам (он ведь начинал как физик), или не понял серьезности момента, или просто приехал туда по чьим-то указаниям, которые нельзя было игнорировать. Удивление почтенных физиков, знавших и ценивших А. Д. — математика, до сих пор вспоминается многими.

Разумеется все мы будем помнить защиту многих больших ученых ЛГУ, приглашение для работы в университете крупных авторитетов, например, В. А. Рохлина — моего основного учителя, которому он немедленно помог с устройством, квартирой и т. д., и который впоследствии в значительной мере изменил своим присутствием научную обстановку на факультете. Характерно, что уже после ухода А. Д. с поста ректора новая генерация университетских и факультетских чиновников не дала Рохлину закрепиться на факультете, не приняла на работу на факультет почти никого из его блистательных учеников (М. Громова — сейчас одного из ведущих геометров в мире — после защиты докторской не пустили дальше НИИММа). В конце концов В. А. выгнали на пенсию, как только ему исполнилось 60, несмотря на все усилия научной общественности помешать этому. А. Д. не раз упоминал все это в своих последующих выступлениях, приглашая слушателей оценить уровень этих руководителей университета. И действительно, что теперь жаловаться на падение научного уровня? Все сделано руками тех самых чиновников.

Сам А. Д. старался продвигать, несмотря на сопротивление кадровиков, “нежелательные” кандидатуры в преподаватели и профессора, — не буду приводить конкретные примеры, их много. Но одновременно он не смог препятствовать постепенному усилению влияния серости во время его ректорства, которая все более и более задавала тон в университете (и не только) и в конце концов почти опустошила когда-то один из самых главных университетов

страны. Конечно, препятствовать было не под силу и не только ему, это была общая установка брежневского времени — выдвигать послушных, а не инициативных руководителей и организаторов, ориентироваться на “проверенных” и работать в тесном контакте с органами, выдвигать в профессора только после визы парт- и других органов, и т. д. и т. п. И, наконец, принимать в университет поменьше детей интеллигенции и не принимать абитуриентов с “плохой” анкетой или плохой “наследственностью” — этой одной из самых мрачных сторон университетской деятельности в позднесоветское время.

Я думаю, что часто он и не хотел связываться в эти вообще-то безнадежные даже для него схватки, где, может, одну-две выиграешь, а сто — проиграешь (есть примеры). Он мог бы, разве что, лишь иногда смягчить ситуацию. Но для сотен молодых людей, незаслуженно отвергнутых при приеме по “идеологическим мотивам”, для многих преподавателей и профессоров — жертв партийных интриг, особенно жестких в университете, как ведущем вузе, — для них не важны личные качества ректора, который, возможно, и пытается противиться этим “обычаям”, в их жизни остался результат. И сам А. Д., я думаю, это прекрасно понимал. Хотя многое от него не зависело, а определялось обстановкой в стране, невозможно забыть, мягко выражаясь, теневые стороны университетской жизни (прием, кадровую систему и пр.), которые присутствовали и во время его ректорства, и в особенности, позже.

Кстати, я ни разу до сих пор не слышал от нынешних хозяев университетов — то ли московского, то ли питерского — внятных заявлений, осуждающих ту практику. Нынешняя молодежь, слушая речи сегодняшних ректоров о прошлом и будущем университетов, вообще не узнает, что все это было.

“Где цвет филологического факультета? Академик Алексеев? Где ученые, прославившие университет?” — раздраженно риторически спрашивал он во время одного разговора со мной, говоря о резком падении уровня университета, уже в начале 80-х, о том, что на том филфаке не с кем говорить и многие достойные имена вытеснены мелкими партийными креатурами. И верно, его забота о том, чтобы в ЛГУ работали ученые самого высокого класса, совершенно не волновала чиновников от науки следующего поколения, единственная забота которых была в том, чтобы не гневить начальство и соответствовать его желаниям. Но ведь многие из них были его выдвиженцами или теми, препятствовать карьере которых, правда, он и не мог. И нужно ли удивляться этому? Постыдная для великой страны серость брежневского времени рекрутировала такую же серость управляющих чиновников, в частности, университетами; Александровым и Петровским среди них не было места. И не могу не заметить, что сейчас мы видим “тех самых” чиновников, сделавших блестящую карьеру в перестроечные и постперестроечные времена. Тогда они бдительно следили, например, чтобы в студенческой среде не было религиозной пропаганды, а теперь, не покраснев, открывают университетские церкви...

Для меня наиболее ярким свидетельством его гражданской и личной смелости была поездка в лагерь к внуку его первого учителя Б. Делоне — Вадиму Делоне — диссиденту, активному участнику правозащитного движения. Я не знаю подробностей, но, казалось, что это не только дань уважения к учителю, а проявление своего отношения к тому, чем занимался В. Делоне. Есть и множество других доказательств либеральности позиций А. Д. — почти во всех академических и других перепалках он последовательно защищал просвещенную, и потому либеральную, позицию, в противоположность советскому

официозу и казенной идеологии. По-видимому, наиболее открыто это проявилось в Новосибирске. Из-за этого у него там было много неприятностей, в основном в силу специфической обстановки в академгородке. Иногда ему приходилось оправдываться за свои абсолютно верные, но крамольные публичные высказывания, круто расходившиеся с партийными догмами.

Уехав из Ленинграда в Новосибирск в 1964 г., оставив подготовку переезда университета в самом начале, А. Д. возвратился почти через двадцать лет, но уже совсем в другой город, с другим университетом. Он иногда приезжал в Ленинград, и я приглашал его выступить на Математическом обществе, он был на похоронах Владимира Ивановича Смирнова, которого высоко ценил и любил, но серьезного влияния на происходящее в университете уже оказать не мог.

О печальной, может быть даже трагической эпопее переезда университета, без преувеличения подкосившей, если не погубившей, университет или во всяком случае его наиболее важную и живую физико-математическую ветвь, будут еще писать историки и очевидцы. Воля и энергия А. Д. в начале проекта была направлена на то, чтобы вывести университет на новый уровень. В этих планах было много романтического и, скорее всего, они были следствием впечатлений от первых зарубежных поездок по замечательным кампусам западных университетов. Среди многих проектов (Васильевский остров, Гражданка и др.) в конце концов был выбран Старый Петергоф. Почему? Парадоксальным образом здесь, по-видимому, совпали намерения и мечты А. Д. — загородный кампус, городок науки и образования, вдали от суеты, с профессорскими квартирами, коттеджами, быстрым транспортом да еще в районе старых университетских научных баз и пр., с одной стороны, и с другой — желание обкома — захихнуть этих подозрительных ученых и крамольствующих универсантов подальше от центра города. Вот один эпизод, рассказанный мне А. Д., подтверждающий это. Толстиков (первый секретарь обкома тех лет) сопровождает в машине Брежнева, направляющегося на основной ленинградский военно-судостроительный завод. Машина едет по университетской набережной мимо главного здания ЛГУ. “Это университет, надо бы помочь в строительстве”, — робко замечает обкомовец (тогда еще искались средства для размещения новых зданий университета в городе). “Не надо” — с неожиданной лапидарностью и решительностью ответил “сам”, никогда университетов не посещавший. Но есть и еще одна колоритная и важная деталь. Во время одного из наших разговоров об этом, который происходил в переполненной (в основном студентами) электричке, едущей в Петергоф, А. Д. в ответ на мои расспросы об истории переселения университета в деревню, почти закричал на весь вагон: “Я поверил в программу партии!!”. — “??”. — “Там в материалах к ней было записано, что Ленинград будет развиваться и строиться в южном направлении и центр переместится туда же, а в результате стали строить в северном направлении. Мне самому Гражданка была бы удобнее — ближе к Кавголово”.¹

Насколько можно было полагаться на хрущевскую программу партии и скорого строительства коммунизма к 80 году, — мы и тогда знали. И А. Д., на-

¹Кавголово — главное слаломное катание ленинградцев, оно всего в нескольких остановках от Гражданки — северного района города, а А. Д. был большой любитель и умелец в горных видах.

верно, догадывался. Дело совсем не в направлении строительства города. Что было бы лучше, если бы построили метро из центра в Петергоф (почти 30 км!) — поверить невозможно. Пожалуй, то же самое. Советская практика мало согласовывалась с действительностью в вопросах, которые ей были почти безразличны. И я думаю, что цели, которые ставило тогда партийное начальство, были блестяще выполнены — наиболее живая часть университета была удалена из центра города, в городе оставалась то, что в те годы было “кузницей кадров” для обкомов и горкомов, партийной печати и пр. (филфак, юрфак, истфак). А планы А. Д., увы, провалились, и вместо современного кампуса университета, в котором должна была бурлить научная и молодая жизнь, получился скучный безжизненный городок, в котором тоскуют студенты, живущие совсем не в культурной столице, и в котором уже вовсе нет тех научных семинаров, которые были гордостью университета в былые годы и в которых участвовала научная общественность всего Ленинграда.

Я запомнил еще один разговор с А. Д. в самом начале этой кампании. Он зашел в столовую мат-меха (на 10-й линии) и я спросил его о том, как движется проект. В то время нас всех опрашивали, сколько комнат мы хотели бы иметь в будущих своих квартирах в Петергофе и кому из преподавателей нужен отдельный офис (!), и прочая юмористика. А. Д. был — весь энергия, он стал рассказывать о том, что большая часть профессуры Большого Ученого совета — инертна и не понимает пользу проекта, и т.д. Помню, что я в ответ не к месту пошутил, что университет всегда объединял в себе реакционную проффессуру и революционное студенчество. Я и тогда не относился к энтузиастам переезда, но еще не понимал тогда всей его губительности.

Наш подробный разговор об этом происходил позже в начале 80-х гг. Мы ехали в электричке и я цитировал первую его часть выше. Нужно сказать, что это было время, когда А. Д., устав от новосибирской жизни (о чем, наверно, правдиво напишут другие), сделал попытку перейти обратно в наш университет. Момент был критический: кафедра геометрии лишилась своего заведующего Ю. А. Волкова, одного из наиболее интересных учеников А. Д., — он неожиданно скончался незадолго до приезда А. Д. совсем не старым, но место было длительное время не занято. Как здесь подходил А. Д., который когда-то долгое время заведовал этой кафедрой, и в котором так нуждался хиреющий и пустеющий мат-мех! “Вот, — думали некоторые из нас с радостью и шутивым злорадством, — пусть, мол, теперь САМ поедит сюда”. Но, я помню главное: предчувствие, что наконец-то на факультете повеет, чем-то свежим. И тут ленинградское начальство — обкомовское и, наверняка, университетское (ректором тогда был обкомовский ставленник Алесковский, нанесший университету много вреда) и, конечно, факультетское, — показало, как оно помнит прежнюю непокорность, — ведь и уехал-то А. Д., сменив ректорство на академический городок в значительной степени из-за стычек с этой партийной гвардией. Оно встало стеной, и никакие ходатайства и хлопоты не помогали. Доводы о том, что и должность-то не очень номенклатурная, и геометр — один из лучших в мире, создавший к тому же здесь свою школу, и, наконец, что и подходящих кандидатов-то нет, — были решительно отвергнуты! Можно ли все это вразумительно объяснить кому-нибудь, скажем, из ученых в остальном мире? Или кому-нибудь из нынешней молодежи, интересующейся недавним прошлым? Нельзя! Не поверят. Но мы жили в том мире. И немножко еще даже и сейчас живем. Да и действительно, зачем им, этим на-

чальничкам, хлопоты и соседство с такой фигурой. И то, о чем я писал выше о кадровой политике в университете и вообще в стране — теперь коснулось в полной мере и А. Д. Не могу не вспомнить по этому поводу и о своих учениках, об учениках В. А. Рохлина и других, многие из которых сейчас занимают позиции в лучших университетах мира, — ни одного из них не удалось оставить на факультете, а многих — даже в аспирантуре. Они “не подходили”, как выразился один чиновник, как “не подходил” и А. Д. для университета образца тех лет!

В конце концов А. Д. взяли в ЛОМИ, что для него было даже лучшим и более спокойным исходом. Но я не знаю, смог ли он простить такое унижение.

Но в момент нашего разговора эта история еще не закончилась и он ехал уже читать какую-то лекцию студентам в Петергоф; полный отказ был еще впереди. Я знал, как нервно он относится к разговорам о Петергофе, и это понятно. Это был его крест, и можно представить, сколько людей предъявляло ему этот тяжелый счет. И до этого мне случалось говорить с ним на эту тему и при встречах, и по телефону. Но и для меня и многих, работавших тогда в петергофском (лучше сказать мартышкинском — МГУ, по имени ближайшей деревни) университете тема тоже была больной. Один раз во время разговора по телефону он на те же мои сетования по поводу переезда зло сказал: “А вы доказывайте хорошие теоремы, и нечего ссылаться на все это”. Но в этот раз я жестокосердно закусил удила. Мы подошли к зданию мат-меха и остановились. Я сказал: “Александр Данилович, помните песню: “Вы здесь из искры раздували пламя, спасибо, Вам, я греюсь у костра”?” Песню он, конечно, знал, но его мгновенная реакция была для меня совершенно неожиданной, но не по существу, — тут он был абсолютно прав, — а из-за мгновенности его реакции и по точности попадания: “Вы, — почти прокричал он, остановившись, — не любите не только Сталина, но и В. И. Ленина”. Разговор происходил еще в брежневское или андроповское время, и эти слова можно понимать только как констатацию моей нелояльности. Правда, моя политическая репутация была и так известна и точно определена одним из функционеров в ректорате как раз в то время: “политический враг”. Тем не менее, я был поражен в тот момент, как быстро А. Д. “вычислил” меня. Ведь ни о том, ни о другом вожде не было сказано ни слова, только песня Ю. Алешковского была связующим звеном. Быстрота и неожиданность реакции всегда отличала его. Потом я понял, что про меня он “это” знал и раньше, да и догадаться нетрудно по нашим прошлым встречам. Но неожиданная связка темы разговора (переезд университета), песенной цитаты, и отношения к вождю революции — не случайна. Я знаю, что он говорил об этом разговоре с несколькими нашими общими знакомыми. Больше я никогда о переезде не заговаривал с ним и просил не делать это других. Слишком жестокими были эти разговоры для А. Д. Хотя он и был главным инициатором всего процесса — не его вина, что получилось так.

И тут я хочу перейти к наиболее непонятной для меня вещи в его облике, — его позиции последних лет. Я писал, что ни у меня, ни у кого никогда не было сомнений в том, что А. Д. — умница и широко образованный человек, просветитель и выдающийся ученый, блестящий организатор, несомненно, либерал, что ему не может не быть душно в позднесоветской застойной обстановке, которая стала естественным финалом всего советского стиля жизни в целом. Что сам он — смелый человек, всю жизнь положил на то, чтобы система не мешала естественному развитию науки и чтобы человеческое на-

чало не подавлялось этой системой. Уж сам-то он навидался достаточно за свое ректорство и всю жизнь. Бесконечно уважаемый им, его добрый гений В. И. Смирнов олицетворял собой (хотя бы в своем кругу) свободную мысль и ценимые всеми нами традиции русской либеральной интеллигенции, которую так ненавидел В. И. Ленин. Критические оценки А. Д. советских порядков были хорошо известны. Я, например, слышал о его не очень осторожном высказывании на одной публичной лекции в академгородке, когда он справедливо говорил о полной милитаризации советской промышленности и вытекающем отсюда неестественном экономическом развитии всей страны. Кстати, это его выступление немедленно было упомянуто “Голосом Америки”, что переположило начальство академгородка. Все, кто читал самиздат или тамиздат (читал ли он?), слышали о предсказании всеобщего экономического кризиса (не империализма!) СССР в начале 90-х гг.; об этом писали и А. Д. Сахаров, и новосибирские экономисты. И так и случилось. Я уже не говорю об очевидном тупике, в который зашли в конце концов отношения между интеллигенцией и советской властью, о чем он тоже прямо или косвенно высказывался. Во всех спорах и скандалах, случавшихся в Академии, в академгородке и др. он всегда занимал либерально-прогрессивную позицию и резко относился, например, к академической демагогии, я бы сказал, “понтрягинского” образца.

Ситуация в стране разрешилась неожиданно и довольно быстро. Вехи этого процесса – 85–89–91. Конечно, произошло все это не в лучшем исполнении. Но хотел бы я знать, как могли разрешиться, и вообще могли бы, неразрешимые противоречия между политикой советской власти и событиями, происходящими в реальном мире, по заранее разработанному в тихих кабинетах сценарию.

Так или иначе, но это, к счастью, случилось при нашей жизни. Таких людей, как А. Д., казалось бы, должны были радовать перемены, которые в их начальной стадии знаменовали освобождение от мертвых догм, долгие годы отравлявших жизнь страны; от склеротического, застойного духа, проникшего во все поры и, в частности, означавшие постепенный конец железного занавеса и беззастенчивого идеологического давления на интеллигенцию; наконец, свободу контактов с миром. Я был уверен, что его позиция будет близка к сахаровской, тем более, что, как я слышал, он отдаленно поддерживал его ранее.

И действительно, в начале события разворачивались так, как я и предполагал. Весной 1987 в Ленинграде был организован клуб научной и творческой интеллигенции “Ленинградская трибуна” (после августа 1991 — переименован в “Петербургскую трибуну”) по образцу “Московской трибуны” — детища А. Д. Сахарова. Организатором была группа писателей и историков, близкая к журналу “Звезда”, был приглашен ряд ученых, писателей, врачей, работников искусств. На первой стадии очень активными было несколько молодых людей, в том числе Даня Александров — сын А. Д. Я хорошо помню первое организационное заседание, которое происходило (пожалуй, символично) в здании Городской Думы на Невском. Было человек 20 в том числе и А. Д., сидевший во главе, активно говоривший о том, что и как нам делать. Настроение у всех было приподнятое, если не праздничное. Мы говорили о том, что цель клуба обсуждать и формулировать позицию демократически настроенной интеллигенции по общественным и политическим проблемам. Планы А. Д. были тогда обширны.

“Трибуна” просуществовала и была весьма активна до 92 года. На первых

порах в нее входили и А. Собчак, и несколько действующих политиков, но они быстро исчезли. Активное ядро составляло человек 20. Наиболее громкая акция — коллективное письмо, составленное мной с Я. Гординым и подписанное членами нашей и Московской трибуны: “КГБ и наше будущее” (1990 год). Оно опубликовано в нескольких газетах, в журнале “Столица” и за рубежом, и не потеряло своей актуальности и сегодня. Но А. Д. уже его не подписывал, он очень скоро отошел от “Трибуны” и ее круга.

Он встретил перемены сначала с некоторым энтузиазмом, потом настороженно, а потом скорее враждебно. Уже во время выборов 89-90 гг. он не стеснялся агитировать студентов против тех, кто олицетворял (во всяком случае в тот момент) эти перемены. Его статьи последних лет в малопочитаемых (мною) изданиях, полные пафоса неприятия конца псевдомарксистско-ленинского словоблудия и псевдокоммунистических идеалов, были совершенно неожиданны и огорчительны для меня. Я мог понять и понимал когда-то чисто интеллектуальную и эмоциональную притягательность того вызова, который был брошен марксизмом несправедливо устроенному миру — 150 лет назад; в мои молодые годы я сам вместе с моими родителями и большинством друзей разделял этот энтузиазм. Но 20-й век, начатый как раз под этими лозунгами, показал, что та, старая несправедливость была пустяшной по сравнению с тем, что нам преподали пришедшие к власти последователи “вечно живого” учения. Оправдания типа того, что это учение извращено, неверно понято, плохо реализовано и т.д. давно навязли в зубах и малого стоят. Его диагноз моей позиции (“вы не любите?”), который я привел выше, был абсолютно верным. Но я-то думал, что он и сам близок к этому, но, оказалось, нет. Что это — нежелание ни в коем случае менять свои сложившиеся взгляды? Страх перед интеллектуальным вакуумом? Не знаю. Но даже вполне понятное неприятие новых властей и недоверие к ним и к новым порядкам (все они ведь оттуда же!) не может стать оправданием и реабилитацией идеологии той противоестественной системы, которая оторвала Россию от остального мира почти на целый век.

Но я вовсе не хочу заканчивать на этой грустной для меня ноте рассказ об этом необычном человеке. Закончить же я хочу разговором о главном — о математике.

Конечно, А. Д. был геометром, что называется, от Бога. Он начинал с физики и всегда сохранял интерес к ней. Но геометрия, которой впервые его заинтересовал Б. Н. Делоне, первоклассный педагог, альпинист, и рассказчик, победила в нем, и мне казалось даже, что его излюбленным занятиям по теории относительности геометрия даже мешала, поскольку тянула от физики к чистой аксиоматике. Без преувеличения он открыл и развил совершенно новый для своего времени подход к классической геометрии, который коротко называли “наглядным”, но точнее следовало бы назвать аппроксимационным, поскольку “наглядность” относилась к теории выпуклых многогранников, а истинно александровская геометрия состояла в том, что и гладкий случай можно рассматривать как предельный для “наглядной” теории. Эта точка зрения впоследствии привела к возникновению самых популярных сейчас областей геометрии. Если говорить о его педагогическом таланте, который, впрочем, в данном случае нельзя оторвать от его стиля научных исследований, то прививавшаяся им и его школой (В. А. Залгаллер и другие) геометрическая точка зрения и геометрическая закалка сильно повлияла на нас и постоянно привлекала к нему сильных учеников, хотя как раз на нашем курсе собственно

геометры не появились. В выпуклой геометрии — возможно, наиболее красивой части классической геометрии, которая всегда привлекала и меня, — его имя стоит в недлинном списке математиков, внесших фундаментальный вклад. Но мой личный опыт обращения к работам А. Д. в первую очередь относится к его работам 50-х годов по тому, что я называл неголономной теорией многообразий, т.е. римановых многообразий, снабженных вполне неинтегрируемым распределением. Ему принадлежит замечательная теорема, которую потом переоткрыл Л. Хермандер (теорема о сумме квадратов). Вообще этот цикл его работ, пользующийся популярностью у специалистов по уравнениям в частных производных, показывает, как сильны его достижения в не чисто геометрических областях. Уже в 80-х гг. он признался мне, что хотел развивать теорию неголономных многообразий, но потом решил, что для этого еще не пришло время. Сейчас это огромная область с выходами в классическую геометрию, квантовую теорию, оптимальное управление и пр. Но для ее развития, действительно, нужен был инвариантный язык, который появился позже, в 60-х гг. Еще в аспирантские годы я изучал его забытые теперь довоенные работы по теории меры, удивляясь, что это “тот же” Александров. Они относились скорее к функциональному анализу, но и в них было геометрическое ядро. Что же касается основной его деятельности, то одного только неравенства Александрова для смешанных объемов в выпуклой геометрии и теорем о развертке трехмерных многогранников достаточно для того, чтобы причислить его к великим геометрам XX века.

STEKLOV MATH. INSTITUTE, FONTANKA 27, ST.PETERSBURG, 191011, RUSSIA
E-mail address: vershik@pdmi.ras.ru